

А.А. Григорьев

**Мои литературные и
нравственные скитальчества**

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Г83

Г83 **Григорьев А.А.**
Мои литературные и нравственные скитальчества / А.А. Григорьев – М.:
Книга по Требованию, 2021. – 98 с.

ISBN 978-5-4241-2712-0

"Вы вызвали меня, добрый друг, на то, чтобы я написал мои "литературные воспоминания". Хотя и опасно вообще слушаться приятелей, потому что приятели нередко увлекаются, но на этот раз я изменяю правилам казенного благоразумия. Я же, впрочем, и вообще-то, правду сказать, мало его слушался в жизни..."

ISBN 978-5-4241-2712-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© А.А. Григорьев, 2021

Григорьев Апполон
Мои литературные и
нравственные скитальчества

Аполлон Григорьев

Мои литературные и нравственные скитальчества

Посвящается М. М. Достоевскому

Вы вызвали меня, добрый друг, {1} на то, чтобы я написал мои "литературные воспоминания". Хотя и опасно вообще слушаться приятелей, потому что приятели нередко увлекаются, но на этот раз я изменяю правилам казенного благоразумия. Я же, впрочем, и вообще-то, правду сказать, мало его слушался в жизни.

Мне сорок лет, и из этих сорока по крайней мере тридцать живу я под влиянием литературы. Говорю "по крайней мере", потому что жить, т. е. мечтать и думать, начал я очень рано; а с тех пор, как только я начал мечтать и думать, я мечтал и думал под теми или другими впечатлениями литературными.

Меня, как вы знаете, нередко упрекали, и пожалуй основательно, за употребление различных странных терминов, {2} вносимых мной в литературную критику. Между прочим, например, за слово "веяние", которое нередко употребляю я вместо обычного слова "влияние". С терминами этими связывали нечто мистическое, хотя было бы справедливее объяснять их пантеистически. {3}

Столько эпох литературных пронеслось и надо мною и передо мною, пронеслось даже во мне самом, оставляя известные пласты или, лучше, следы на моей душе, что каждая из них глядит на меня из-за дали прошедшего отдельным органическим целым, имеет для меня свой особенный цвет и свой особенный запах.

Ihr naht euch wieder, schwankende Gestalten, {*} {4}

{* Вы снова здесь, изменчивые тени (нем.; пер. В. Пастернака).}

зываю я к ним порою, и слышу и чувю их веяние...

Вот она, эпоха сереньких, тоненьких книжек "Телеграфа" и "Телескопа", с жадностью читаемых, долга дочитываемых молодежью тридцатых годов, окружавшей мое детство, - эпоха, когда журчали еще, носясь в воздухе, стихи Пушкина и ароматом наполняли воздух повсюду, даже в густых садах диковинно-типического Замоскворечья, {5} - эпоха бессознательных и безразличных восторгов, в которую наравне с этими вечными песнями восхищались добрые люди и "Аммалат-беком". {6} Эпоха, над которой нависла тяжелой тучей другая, ей предшествовавшая, {7} в которой отзывается какими-то зловеще-мрачными веяниями тогдашнее время в трагической участи Полежаева. Несмотря на бессознательность и безразличность восторгов, на какое-то беззаветное упоение поэзией, на какую-то дюжинную веру в литературу, в воздухе осталось что-то мрачное и тревожное. Души настроены этим мрачным, тревожным и зловещим, и стихи Полежаева, игра Мочалова, варламовские звуки дают отзыв этому настроению... А тут является колоссальный роман Гюго {8} и кружит молодые головы; а тут Надеждин в своем "Телескопе" то и дело поддает романтического жара переводами молодых лихорадочных повестей Дюма, Сю, Жанена.

Яснеет... Раздается могущественный голос, вместе и узаконивающий и прищипывающий стремления и неясные гадания эпохи, - голос великого борца, Виссариона Белинского. В "Литературных мечтаниях", как во всяком гениальном произведении, схватывается в одно целое все прошедшее и вместе закидываются сети в будущее.

Веет другой эпохой.

Детство мое личное давно уже кончилось. Отрочества у меня не было, да не

было, собственно, и юности. Юность, настоящая юность, началась для меня очень поздно, а это было что-то среднее между отрочеством и юностью. Голова работает как паровая машина, скачет во всю прыть к оврагам и безднам, а сердце живет только мечтательною, книжною, напускною жизнью. Точно не я это живу, а разные образы литературы во мне живут. На входном пороге этой эпохи написано: "Московский университет после преобразования 1836 года" {9} университет Редкина, Крылова, Морошкина, Крюкова, университет таинственного гегелизма, {10} с тяжелыми его формами и стремительной, рвущейся неодолимо вперед силой, - университет Грановского.

A change came over the spirit of my Dream... {*} {11}

{* Внезапно изменилось сновиденье (англ.; пер. М. Зенкевича).}

Волею судеб или, лучше сказать, неодолимою жаждою жизни я перенесен в другой мир. Это мир гоголевского Петербурга, Петербурга в эпоху его миражной оригинальности, в эпоху, когда существовала даже особенная петербургская литература... {12} В этом новом мире для меня промелькнула полоса жизни совершенно фантастической; над нравственной природой моей пронеслось странное, мистическое веяние, {13} - но с другой стороны я узнал, с его запахом довольно тухлым и цветом довольно грязным, мир панаевской "Тли", {14} мир "Песцов", "Межаков" {15} и других темных личностей, мир "Александрии" {16} в полном цвете ее развития с водевилями г. Григорьева и еще скитавшегося Некрасова-Перепельского, {17} с особенным креслом для одного богатого купчика и вместе с высокою артисткой, {18} заставлявшей порою забывать этот странно-пошлый мир.

И затем - опять Москва. Мечтательная жизнь кончена. Начинается настоящая молодость, с жаждою настоящей жизни, с тяжкими уроками и опытами. Новые встречи, новые люди, люди, в которых нет ничего или очень мало книжного, люди, которые "продерживают" {19} в самих себе и в других все напускное, все подогретое, и носят в душе беспритязательно, наивно до бессознательности веру в народ и народность. Все "народное", даже местное, что окружало мое воспитание, все, что я на время успел почти заглушить в себе, отдавшись могущественным веяниям науки и литературы, - поднимается в душе с неожиданною силою и растет, расцветает до фанатической исключительной меры, до нетерпимости, до пропаганды... Пять лет новой жизненной школы. {20}

И опять перелом.

Западная жизнь воочию развергивается передо мною чудесами своего великого прошедшего и вновь дразнит, поднимает, увлекает. Но не сломилась в этом живом столкновении вера в свое, в народное. Смягчала она только фанатизм веры.

Таков процесс умственный и нравственный.

Не знаю, станет ли у меня достаточно таланта, чтобы очертить эти различные эпохи, дать почувствовать их, с их запахом и цветом. Если для этого достаточно будет одной искренности, - искренность будет полная, разумеется по отношению к умственной и моральной жизни.

Одно я знаю: я вполне сын своей эпохи и мои литературные признания могут иметь некоторый исторический интерес.

1862 г. сентября 12.

* ЧАСТЬ ПЕРВАЯ *

МОСКВА И НАЧАЛО ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ ЛИТЕРАТУРЫ. МОЕ МЛАДЕНЧЕСТВО, ДЕТСТВО И ОТРОЧЕСТВО

I

ПЕРВЫЕ ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Если вы бывали и живали в Москве, да не знаете таких ее частей, как, например, Замоскворечье и Таганка, - вы не знаете самых характеристических ее особенностей. Как в старом Риме Трастевере, {1} может быть, не без основания хвалится тем, что в нем сохранились старые римские типы, так Замоскворечье и Таганка могут похвалиться этим же преимущественно перед другими частями громадного города-села, чудовищно-фантастического и вместе великолепно разросшегося и разметавшегося растения, называемого Москвою. От ядра всех русских старобитных городов, от кремля, или кремника, пошел сначала белый, торговый город; {2} потом разросся земляной город, {3} и пошли раскидываться за реку разные слободы. В них уходила из-под влияния административного уровня и в них сосредоточивалась упрямо старая жизнь. Лишенная возможности развиваться самостоятельно, она поневоле закисала в застое. Общий закон нашей истории - уход земской жизни из-под внешней нормы в уединенную и упорную замкнутость расколов, повторился и в Москве, то есть в развитии ее быта.

Бывали ли вы в Замоскворечье?.. Его не раз изображали сатирически; кто не изображал его так? - Право, только ленивый!.. Но до сих пор никто, даже Островский, не коснулся его поэтических сторон. А эти стороны есть - ну, хоть на первый раз - (внешние) наружные. Во-первых, уж то хорошо, что чем дальше идете вы вглубь, тем более Замоскворечье тонет перед вами в зеленых садах; во-вторых, в нем улицы и переулки расходились так свободно, что явным образом они росли, а не делались... Вы, пожалуй, в них заблудитесь, но хорошо заблудитесь...

Пойдемте, например, со мною от большого каменного моста {4} прямо, все прямо, как вороны летают. Миновали мы так называемое Болото... да! главное представьте, что мы идем с вами поздним вечером. Миновали мы Болото с казенным зданием винного двора, {5} тут еще нет ничего особенного. Оно, пожалуй, и есть, да надобно взять в сторону на Берсеневку {6} или на Солодовку, {7} но мы не туда пойдем. Мы дошли до маленького каменного моста, {8} единственного моста старой постройки, уцелевшего как-то до сих пор от усердия наших реформаторов-строителей и напоминающего мосты итальянских городов, хоть бы, например, Пизы. Перед нами три жилы Замоскворечья, {9} то есть, собственно, главных-то две: Большая Полянка да Якиманка, третья же между ними какой-то межеумок. Эти две жилы выведут нас к так называемым воротам: одна, правая жила - к Калужским, другая, левая - к Серпуховским. {10} Но не в воротах сила, тем более что ворот, некогда действительно составлявших крайнюю грань городского жилища, давно уж нет, и город-растение разросся еще шире, за пределы этих ворот.

Я мог бы пойти с вами по правой жиле, и притом пойти по ней в ее праздничную, торжественную минуту, в ясное утро 19 августа, {11} когда чуть что не от самого Кремля движутся огромные массы народа за крестным ходом к Донскому монастырю, и все тротуары полны празднично разрядившимся народонаселением правого Замоскворечья, и воздух дрожит от звона колоколов старых церквей, и все как-то чему-то радуется, чем-то живет, - живет смесью, пожалуй, самых

мелочных интересов с интересом крупным ли, нет ли - не знаю, но общим, хоть и смутно, но общественным на минуту. И право, - я ведь неисправимый, закоренелый москвич, - хорошая это минута. Общее что-то пронесится над всей разнохарактерной толпой, общее захватывает и вас, человека цивилизации, если вы только не поставите себе упорно задачи не поддаваться впечатлению, если вы будете упорно вооружаться против формы.

Но мы не пойдём с вами по этой жиле, а пойдём по левой, при первом входе в которую вас встречает большой дом итальянской и хорошей итальянской архитектуры. {12} Долго идем мы по этой жиле, и ничто особенное не поражает вас. Дома как дома, большею частью каменные и хорошие, только явно назначенные для замкнутой семейной жизни, оберегаемой и заборами с гвоздями, и по ночам сторожевыми псами на цепи; от внезапного яростного лая которого-нибудь из них, вскочившего в припадке ревности и усердия на самый забор, вздрогнут ваши нервы. Между каменных домов проскачут как-нибудь и деревянные, маленькие, низенькие, но какие-то запущенные, как-то неприветливо глядящие, как-то сознающие, что они тут не на месте на этой хорошей, широкой и большой улице.

Дальше. Остановитесь на минуту перед низенькой, темно-красной с луковичками-главами церковью Григория Неокесарийского. {13} Ведь, право, она не лишена оригинальной физиономии, ведь при ее созидании _что-то_ явным образом бродило в голове архитектора, только это _что-то_ в Италии выполнил бы он в больших размерах и мрамором, а здесь он, бедный, выполнял в маленьком виде да кирпичиком; и все-таки вышло _что-то_, тогда как ничего, ровно ничего не выходит из большей части послепетровских церковных построек. Я, впрочем, ошибся, сказавши, что в колоссальных размерах выполнил бы свое что-то архитектор в Италии. В Пизе я видел церковь Santa Maria della Spina, маленькую-премаленькую, но такую узорчатую и вместе так строго стильную, что она даже кажется грандиозною.

Вот мы дошли с вами до Полянского рынка, {14} а между тем уже сильно стемнело. Кой-где по домам, не только что по трактирам, зажглись огни.

Не будем останавливаться перед церковью Успенья в Казачьем. {15} Она хоть и была когдат-то старая, ибо прозвище ее намекает на стоянье казаков, но ее уже давно так поновило усердие богатых прихожан, что она, как старый собор в Твери, получила общий, казенный характер. Свернемте налево. Перед нами потянулись уютные, красивые дома с длинными-предлинными заборами, дома большею частью одноэтажные, с мезонинами. В окнах свет, видны повсюду столики с шипящими самоварами; внутри глядит все так семейно и приветливо, что если вы человек не семейный или заезжий, вас начинает разбирать некоторое чувство зависти. Вас манит и дразнит Аркадия, создаваемая вашим воображением, хоть, может быть, и не существующая на деле.

Идя с вами все влево, я завел вас в самую оригинальную часть Замоскворечья, в сторону Ордынской и Татарской слободы {16} и наконец на Болвановку, {17} прозванную так потому, что тут, по местным преданиям, князя наши встречали ханских баскаков и кланялись татарским болванам.

Вот тут-то, на Болвановке, началось мое несколько-сознательное детство, то есть детство, которого впечатления имели и сохранили какой-либо смысл. Родился я не тут, родился я на Тверской; помню себя с трех или даже с двух лет, но то

было младенчество. Воскормило меня, возлелеяло Замоскворечье.

Не без намерения назираю я на этот местный факт моей личной жизни. Быть может, силе первоначальных впечатлений обязан я развязкою умственного и нравственного процесса, совершившегося со мною, поворотом к горячему благоговению перед земскою, народною жизнью.

Я намерен писать не автобиографию, но историю своих впечатлений; беру себя как объекта, как лицо совершенно постороннее, смотрю на себя как на одного из сынов известной эпохи, и, стало быть, только то, что характеризует эпоху вообще, должно войти в мои воспоминания; мое же личное войдет только в той степени, в какой оно характеризует эпоху.

Мне это, коли хотите, даже и легче, потому что давно уже получил я проклятую привычку более рассуждать, чем описывать.

И вот прежде всего я не могу не остановиться на одной личной черте моего раннего развития, которая, как мне кажется, очень характеристична по отношению к целому нашему поколению. Во мне необыкновенно рано началась рефлексия - лет до пяти, именно с того времени, как волею судеб мое семейство переехало в уединенный и странный уголок мира, называемый Замоскворечьем. Помню так живо, как будто бы это было теперь, что в пять лет у меня была уже Аркадия, по которой я тосковал, потерянная Аркадия, перед которой как-то печально и серб - именно серб казалось мне настоящее. Этой Аркадией была для меня жизнь у Тверских ворот, в доме Козина. {18} Почему эта жизнь представлялась мне залитою каким-то светом, почему даже и в лета молодости я с сердечным трепетом проходил всегда мимо этого дома Козина у Тверских ворот, давно уже переменившего имя своего хозяина, и почему нередко под предлогом искания квартиры захаживал на этот двор, стараюсь припомнить уголки, где игрывал я в младенчестве; почему, говорю я, преследовала меня эта Аркадия, - дело весьма сложное. С одной стороны, тут есть общая примета моей эпохи, с другой, коли хотите, - дело физиологическое, родовое, семейное.

У всей семьи нашей была своя потерянная Аркадия, Аркадия богатой жизни при покойном деде до французского нашествия, истребившего два больших его дома на Дмитровке; {19} и в особенности одна из моих теток, {20} натура в высшей степени мечтательная и экзальтированная, была полна этим "золотым веком". Разница в том только, что для нее Аркадия была на Дмитровке, для меня - на Тверской, и разница, кроме того, в эпохах.

Я родился в 1822 году. Трех лет я хорошо помню себя и свои бессознательные впечатления. Общественная катастрофа, разразившаяся в это время, катастрофа, с некоторыми из жертв которой мой отец был знаком по университетскому благородному пансиону, {21} страшно болезненно подействовала на мое детское чувство.

Детей большие считают как-то необычайно глупыми и вовсе не подозревают, что ведь что же нибудь да отразится в их душе и воображении из того, что они слышат или видят. Я, например, хоть и сквозь сон как будто, но очень-таки помню, как везли тело покойного императора Александра и какой странный страх господствовал тогда в воздухе... {22}

Да, никто и ничто не уверит меня в том, чтобы идеи не были чем-то органическим, носящимся и веющим в воздухе, солидарным, преемственным...

То, что веяло тогда над всем, то, что встретило меня при самом входе моем в

мир, мне никогда, конечно, не высказать так, как высказал это высоко даровитый и пламенный Мюссе в "Confessions d'un enfant du siecle". {"Исповедь сына века" (франц.)} Напомню вам это удивительное место, {23} которым я заключаю очерк преддверия моих впечатлений:

"Во времена войн империи, в то время, как мужья и братья были: в Германии, тревожные матери произвели на свет поколение горячее, бледное, нервное. Зачатые в промежутки битв, воспитанные в училищах под барабанный бой, тысячи детей мрачно озирали друг друга, пробуя свои слабые мускулы. По временам являлись к ним покрытые кровью отцы, подымали их к залитой в золото груди, потом слагали на землю это бремя и снова садились на коней.

Но война окончилась; Кесарь умер на далеком острове.

Тогда на развалинах старого мира села тревожная юность. Все эти дети были капли горячей крови, напоившей землю: они родились среди битв. В голове у них был целый мир; они глядели на землю, на небо, на улицы и на дороги, все было пусто, и только приходские колокола гудели в отдалении.

Три стихии делили между собою жизнь, расстилавшуюся перед юношами: за ними навсегда разрушенное прошедшее, перед ними заря безграничного небосклона, первые лучи будущего, и между этих двух миров нечто, подобное океану, отделяющему старый материк от Америки; не знаю, что-то неопределенное и зыбкое, море тинистое и грозящее кораблекрушениями, по временам переплываемое далеким белым парусом или кораблем с тяжелым ходом; настоящий век, наш век, одним словом, который отделяет прошедшее от будущего, который ни то ни другое и походит на то и на другое вместе, где на каждом шагу недоумевашь, идешь ли по семенам или по праху.

И им оставалось только настоящее, дух века, ангел сумерек, не день и не ночь; они нашли его сидящим на мешке с костями, закутанным в плащ себялюбия и дрожащим от холода. Смертная мука закралась к ним в душу при взгляде на это видение, полумумию и полупрах; они подошли к нему, как путешественник, которому показывают в Страсбурге дочь старого графа Саарвердена, балзамированную, в гробу, в венчалном наряде. Страшен этот ребяческий скелет, ибо на худых и бледных пальцах его обручальное кольцо, а голова распадается прахом посреди цветов.

О народы будущих веков! - заканчивает поэт свое вступление. - Когда в жаркий летний день склонитесь вы под плугом на зеленом лугу отчизны, когда под лучами яркого, чистого солнца земля, щедрая мать, будет улыбаться в своем утреннем наряде земледельцу; когда, отирая с мирного чела священный пот, вы будете покоить взгляд на беспредельном небосклоне и вспомните о нас, которых уже не будет более, - скажите себе, что дорого купили мы вам будущий покой; пожалейте нас больше, чем всех ваших предков. У них было много горя, которое делало их достойными сострадания; у нас не было того, что их утешало".

II. МИР СУЕВЕРИЙ

Хорошая вещь - серьезные и захватывающие жизнь в ее типах литературные произведения. Мало того, что они сами по себе хороши, положительно хороши, они имеют еще отрицательную пользу: захвативши раз известные типы, художественно и рельефно увековечив их, они отбивают охоту повторять эти типы.

Вот, например, не будь аксаковской "Семейной хроники", я бы неминуемо должен был вовлечься в большие подробности по поводу моего деда, лица, мною

никогда не виданного, потому что он умер за год до моего рождения, {1} но по рассказам знакомого мне, как говорится, до точки и игравшего немаловажную роль в истории моих нравственных впечатлений.

Теперь же стоит только согласиться на общий тип кряжевых людей бывалой эпохи, изображенной рельефно и вместе простодушно покойным Аксаковым, да отметить только разности и отличия, и вот образ, если не нарисованный мной самим, то могущий быть легко нарисован читателем.

Дед мой в общих чертах удивительно походил на старика Багрова, и день его, в ту эпоху, когда он уже мог жить на покое, мало разнился, судя по семейным рассказам, от дня Степана Багрова. Чуть что даже калинового подожка у него не было, а что свои талайченки, {2} даже свои собственные калмыки были, это я очень хорошо помню. Разница между ним и Степаном Багровым была только в том, что он, такой же кряжевой человек, поставлен был в иные жизненные условия. Он не родился помещиком, а сделался им, да и то под конец своей жизни, многодельной и многотрудной. Пришел он в Москву из северо-восточной стороны в нагольном полушубке, пробивал себе дорогу лбом, и пробил дорогу, для его времени довольно значительную. Пробил он ее, разумеется, службой, и потому пробил, что был от природы человек умный и энергический. Еще была у него отличительная черта - это жажда к образованию. Он был большой начетчик духовных книг и даже с архиереями нередко спорил; после него осталась довольно большая библиотека, и дельная библиотека, которою мы, потомки, как-то мало дорожили...

Странная вот еще эта черта, между прочим, и опять-таки черта, как мне кажется, общая в нашем развитии, - это то, что мы все маленькие Петры Великие на половину и обломовцы на другую. В известную эпоху мы готовы с озлоблением уничтожить следы всякого прошедшего, увлеченные чем-нибудь первым встречным, что нам понравилось, и потом чуть что не плакать о том, чем мы пренебрегали и что мы разрушали. Мне было уже лет одиннадцать, когда привезли нам в Москву из деревни сундуки с старыми книгами деда. А то была уже эпоха различных псевдоисторических романов, которыми я безразлично упивался, всеми от "Юрия Милославского" {3} до "Давида Игоревича" {4} и других безвестных ныне произведений, от "Новика" {5} Лажечникова до "Леонида" {6} Рафаила Зотова. Странно повеяли на меня эти старые книги деда в их пожелтелых кожаных переплетах, книги мрачные, степенные, то в лист и печатанные славянским шрифтом, как знаменитое "Добротолубие", {7} то в малую осьмушку, шрифтом XVIII века, и оригинальные вроде назидательных сочинений Эмина, {8} и переводные вроде творений Бюниана и Иоанна Арндта, {9} и крошечные и полуистрепанные, как редкие ныне издания сатирических журналов: "И то и се", "Всякая всячина". Как теперь помню, как я глядел на них с каким-то пренебрежением, как я - а мне отдали право распорядка этой библиотеки - не хотел удостоить их даже чести стоять в одном шкапу с "Леонидами", "Постоялыми дворами", "Дмитриями Самозванцами" {10} и другим вздором, которым, под влиянием эпохи, наполнил я шкаф, отделивши от них только сочинения Карамзина, к которому воспитался я в суеверном уважении. Помню, я даже топтал их ногами в негодовании, а все-таки, пожираемый жаждою чтения, заглядывал в них, в эти старые книги, и даже начитывался порою сатирических изданий новиковской эпохи (Рослад и других од, {11} равно как сочинений Княжнина и

Николева одолеть я никогда не мог) и знакомством своим с мыслью и жизнью ближайших предков обязан был я все им же, старым книгам. И как я жалел в зрелые годы об этой распропавшей, раскраденной пьяными лакеями и съеденной голодными мышами библиотеке. Но увы! как и везде и во всем, поздно хватаемся мы за наши предания...

Дед мой был знаком даже с Новиковым, и сохранилось в семье предание о том, как струсил он, когда взяли Новикова, {12} и пережег {13} множество книг, подаренных ему Николаем Ивановичем. Был ли дед масоном - не могу сказать наверняка. Наши ничего об этом не знали. Лицо, принадлежавшее к этому ордену и имевшее, как расскажу я со временем, большое влияние на меня в моем развитии, говорило, что был.

Дед и мир, когда-то вокруг его процветавший, мир довольства и даже избытка, кареты четверней, мир страшного, багровского деспотизма, набожности, домашних свар - это была Аркадия для моей тетки, но далеко не была это Аркадия для моего отца, человека благодушного и умного, но нисколько не экзальтированного.

Когда приезжали к нам из деревни погостить бабушки и тетки, я решительно поддавал под влияние старшей тетки; о ней, как о лице довольно типическом, я буду говорить еще не раз. Натура страстная и даровитая, не вышедшая замуж по страшной гордости, она вся сосредоточилась в воспоминаниях прошедшего. У нее даже тон был постоянно экзальтированный, но мне только уже в позднейшие года начал этот тон звучать чем-то комическим. Ребенком я отдавался ее рассказам, ее мечтам о фантастическом золотом веке, даже ее несбыточным, но упорным надеждам на непременный возврат этого золотого века для нашей семьи.

Была даже эпоха и... я обещался быть искренним во всем, что относится к душевному развитию, буду искренен до последней степени, - эпоха вовсе не первоначальной молодости, когда, под влиянием мистических идей, я веровал в какую-то таинственную связь моей души с душою покойного деда, в какую-то метемпсихозу не метемпсихозу, а солидарность душ. Нередко, возвращаясь ночью из Сокольников и выбирая всегда самую дальнюю дорогу, ибо я любил бродить в Москве по ночам, я, дойдя до церкви Никиты-мученика в Басманной, останавливался перед старым домом на углу переулка, {15} первым пристанищем деда в Москве, когда пришел он составлять себе фортуны, и, садясь на паперть часовни, ждал по полчаса, не явится ли ко мне старый дед разрешить мне множество тревоживших мою душу вопросов. На ловца обыкновенно и зверь бежит. С человеком, склонным к мистическому, случаются обыкновенно и факты, незначительные для других, но влекущие его лично в эту странную бездну. Два раза в жизни, и всегда перед разными ее переломами, дед являлся мне во сне. Дело психически очень объяснимое, но питавшее в душе склонность ее к таинственному миру.

Суеврия и предания окружали мое детство, как детство всякого большой или небольшой руки барчонка, окруженного большой или небольшой дворней и по временам совершенно ей предоставляемого. Дворня, а у нас именно испокон века велась она, несмотря на то что отец мой только что жил достаточно, была вся из деревни, и с ней я пережил весь тот мир, который с действительным мастерством передал Гончаров в "Сне Обломова". Когда наезжали родные из деревни, с ними прибывали некоторые члены тамошней обширной дворни и подава-